

ЭССЕ "ЦИРКА" ОДИНОЧЕСТВА



1996 №13

Общее место для пишущих о Бродском - утверждение о том, что его стихи написаны из пространства предельного холода. Предел холода - смерть. "В одном парижском журнале об этом написано так: "Говорят, если человек отравился цианистым калием, то он кажется нам мертвым, но еще около получаса глаза видят, уши слышат, сердце бьется, мозг работает. Поэзия Бродского есть в некотором смысле запись мыслей человека, покончившего с собой" (С.Лурье). Каким был путь Бродского к состоянию "смерти при жизни" - и каковы возможности такой позиции?

Путь Бродского - постепенный (от него еще более болезненный) разрыв, углубление одиночества - и приобретение его опыта. Вначале еще была надежда на то, что достаточно одиночества относительно государства, что личность, оторвавшись от идеологии, сама найдет дорогу и сможет сказать о найденном; как петухи о жемчужном зерне: "Мы нашли его сами// очистили сами,/ / об удаче сообщаем// собственными голосами". Такое одиночество есть принятие ответственности ("во всем твоя, одна твоя вина"), путь к индивидуализации, которая одновременно и цель, и защита. "Верный признак опасности - число разделяющих ваши взгляды... Надежнейшая защита от зла - предельный индивидуализм, оригинальность, эксцентричность". Но это именно путь отчуждения, "мира и горя мимо". "Идут сквозь толпу людей, // потом - вдоль рек и полей. // Потом - сквозь леса и горы, // все быстрей. Все быстрей".

Связи постепенно рвутся, Бродский чувствует все большую свободу и радуется ей. "Как хорошо, что некого винить, // как хорошо, что ты никем не связан, // как хорошо, что до смерти любить // тебя никто на свете не обязан". Человек остается с миром один на один, разговаривает с ним без посредников и помех. Не случайно благодарность за отчуждение "слава Богу, чужой..." следует именно за напряженным взглядыванием в мир, его вечную жизнь, где оживленье любви и плеск холодной воды. Нести такую свободу тяжело (потому что все - на одних плечах). И постоянной болью остаются чужие квартиры и чистеньких лестницузость, куда "мене нельзя входить". Пронзительной тоской по оставленному завершается "Речь о пролитом молоке". Но остается надежда, что если все будут заняты своим делом ("предлагаю - дабы еще до срока// не угодить в объятья порока:// займите чем-нибудь руки."), все будет идти своим чередом и как-то уладится. "Повернуть к начальству "жэ", и пусть "сапожник строит сапоги. Пирожник// сооружает крендель, <...> Влекут дельфины по волнам треножник<...> Я вспоминаю эпизод в Тавриде..."

Но чем свободнее взгляд Бродского, тем больше грязи он открывает. "Но треные глаза о теле себе подобных рождают грязь". Взгляд честен, и в себе обнаруживает грязи не меньше. Появляется желание отгородиться не только от людей, но и от себя. Чем больше Бродский переходит от частной ситуации СССР 60-х годов к более общей, тем острее становится ощущение тупика, в который зашла жизнь вообще. "Красавице платье задрав, // видишь то, что искал, а не новые дивные дива", "Тех нет обаяний, чтоб не разошлись// как стрелки в полночь". СССР просто дальше других стран продвинул в этом направлении обессмысливания (как в свое время - Австро-Венгрия Роберта Музия), а так - "звезды всюду те же". Перемещение самого Бродского на запад - только смена империи ("Колыбельная трескового мыса"). Конечно, жизнь в демократическом обществе предпочтительнее, чем в тоталитарном. Но изобилие демократии вовсе не связано с большей духовностью или хотя бы с большей самостоятельностью. "Мы пирог свой захарим на чистом сале// ибо так вкуснее, нам так сказали". Именно в конце 60-х - начале 70-х годов у Бродского резко увеличивается количество снижающей лексики, интонация текстов становится все ближе к разговору и все дальше от традиционной мелодичности. Но разрыв связей - не столько следствие эмиграции, сколько воля Бродского. "Думаю, что не стоит распространяться об изгнании, потому что это просто нормальное состояние". Изгнание - лишь мелкий эпизод на общем метафизическом фоне.

В грязном мире не хочется жить, он оставляет ощущение физической тошноты. "И вкус от жизни в этом мире, // как будто наследил в чужой квартире// и вышел прочь!". Причем Бродский прекрасно сознает, что и он - порождение этого же мира. Самоотрижение последовательно и безжалостно. "Не знаю, возможны ли такие личные нападки и оскорблений, такие нескромные и неаппетитные подглядывания за Бродским со стороны какого-нибудь злопыхателя, которые можно было бы хоть в какой-то мере сопоставить с тем унижением, какому он подвергает себя сам" (Н.Славянский). Одиночество Бродского - не романтический полет демона. "Тело сыплет шаги на землю из мятых брюк", "В полости рта не уступит кариес// Греции древней, привести сколько угодно. Но это всего-навсего трезвое отношение к себе, без которого человек ненадежен. "Лирическому герою Кублановского не хватает того

отвращения к себе, без которого он не слишком убедителен" - пишет Бродский об одном из таких слишком уверенных в своей чистоте людей. Обратной дороги на этом пути нет. "Человек превращается на протяжении своего существования - как мне представляется - во все более и более автономное тело, и вернуться из этого, в общем, до известной степени, психологического космоса во внятную... эмоциональную реальность уже, в общем, бессмысленно". Так, оговариваясь и запинаясь, потому что слишком тяжело

высказываемое, осознает Бродский необратимость разрыва, одиночества. Даже если склеить разбитую чашку - след раскола все равно останется.

После разочарования в себе и в людях Бродский пытается опереться на вещи. В пользу вещей говорит их незаинтересованность ("предметы и свойства их// одушевленнее нас самих, // всюду сквозит одержимость тел// манией личных дел"). В "Натюрморте" Бродский подчеркивает честность вещей, их неспособность льстить кому-либо, смирение: "Вещь можно грохнуть, сжечь, // распорошить, сломать. // Бросить. При этом вещь// Не крикнет: "Ебена мать!" У вещей Бродский учится спокойствию и стойкости ("чувство ужаса// вещи не свойственно. Так что лужица// после вещи не обнаружится, // даже если вещица при смерти"). Вещи не различают живого и мертвого, и после школы их твердости страх смерти исчезает. Смертное затвердевание тела - "это и к лучшему. Так я думаю". Появляется безразличие к боли: "Ни против нее, ни за нее// я ничего не имею". Причем, это безразличие именно к своей боли. "Самое главное есть не литература, но умение никому не причинить бо-бо" - так может сказать только тот, кого слишком большая доза своей боли научила хорошо чувствовать чужую. Но вещь безразлична вообще ко всему и неподвижна. "Посвящается ступу": "дай ему пинок, // скинь все с себя - как об стену горох". В вещах нет глубины, там только то, что мы в них вложили: "Фанера. Гвозди. Пыльные штыри. // Товар из вашей собственной ноздри". Вещь - не опора.

"Выясняется, что вещи еще хуже пустоты - они лицемернее чистого пространства, нуля" (П.Вайль, А.Генис).

Природа обнаружила свое безразличие и безжалостность еще ранее: "Природа расправляется с былим, // как водится. Но лиц ее при этом -// пусть залитый закатным светом -// невольно делается злым."

И тогда Бродский обращается к опоре всех метафизиков - воздуху. "Он суть наше "домой", "домой, в стратосферу", "к вещам, различимым лишь в телескоп". Но надежда на жизнь в воздухе быстро

исчерпывается. "Воздух, в сущности, есть плато, // пат, вечный шах, щетка, // ничья, классическое ничто, // гегелевская мечта". А выше - "астрономически объективный ад", ледяное пространство, в котором может перемещаться мысль, но не могут жить ни ястреб, ни человек.

Круг замкнулся. Ни самое твердое, ни самое бесплотное, ни люди вокруг, ни сам человек опорой быть не могут. Надеяться не на что. Все связи порваны. "Строфы" - нечто вроде реквиема по себе. Время стачивает все, "человек - только автор// скжатого кулака", "жизнь есть товар на вынос: // торса, пениса, лба" - и "за этим" // не следует ничего". Но истерика Бродскому абсолютно не свойственна.

Все потеряно, но "только размер потерии и// делает смертного равным Богу". "Смертность, на которую человек не закрывает глаза, делает его свободным от множества вещей. Эта точка зрения открывает широчайший взгляд на мир - "вид планеты с Луны", освобождает от мелких обид и привязанностей" (О.Седакова). Бродский "предпочел ... серой тьме повседневного существования - тьму глубинную, угольную" (А.Каломиров). Но в этой угольной тьме - свобода от повседневности, личных обстоятельств, страха, зависимостей. "Одиночество учит сути вещей, ибо суть их тоже// одиночество". И почему бы не передать опыт этого одиночества другим? Бродский все чаще ощущает себя полярным исследователем, Седовым. "Это - ряд наблюдений" человека, оказавшегося там, где крошится металл, но уцелеет стекло.

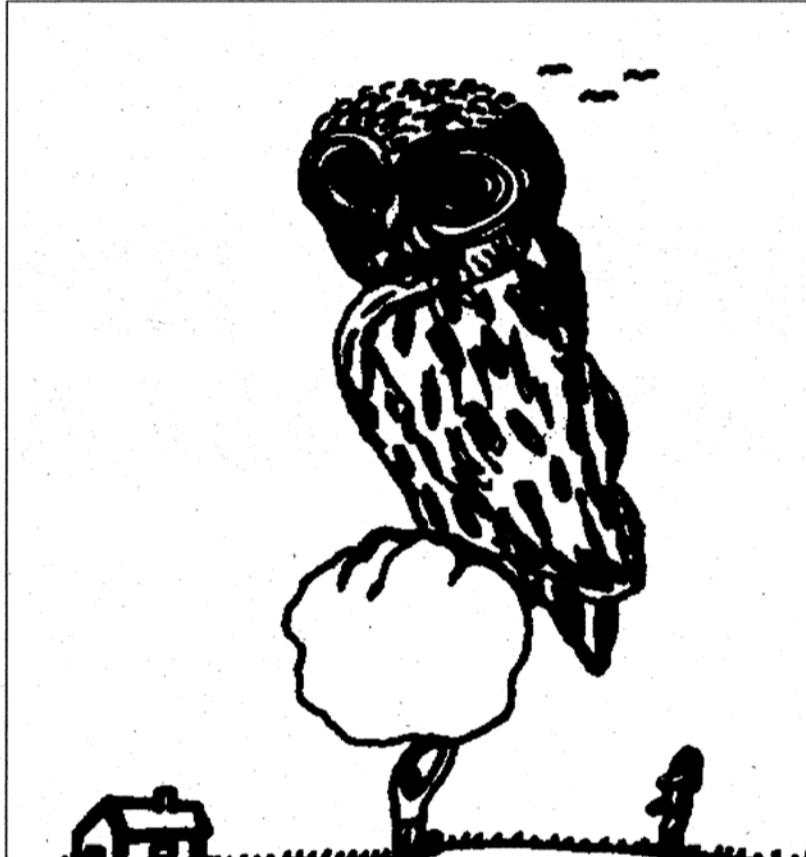
В предельном одиночестве сам человек становится пустотой. "Нарисуй на бумаге пустой кружок // это буду я: ничего внутри". И через эту пустоту начинает свободно течь мир. "Тронь меня - и ты тронешь сухой репей, // сырость, присущую вечеру или полдню, // каменоломню города, ширь степей, // тех, кого нет в живых, но кого я помню".

Именно теперь человек может спокойно смотреть на мир, не отгороженный "манией личных дел". "Лексическая, предметная избыточность стиха - тоже не что иное, как свидетельство великой вовлечеченности в жизнь, зачарованности ее многообразием, в конце концов, такое отчаяние куда сильней привязывает к миру, чем иные восторги перед ним в пустопорожних стихах" (А.Кушнер).

Когда приходит опустошенность и смирение, понимание того, что "в театре задник// важнее, чем актер", Бродский обнаруживает, "что мы теперь заодно с жизнью". Происходит освобождение и от смерти. Потому что она уже не имеет значения: "Ты боишься смерти? - Нет, это та же тьма. // Но привыкнув к ней, не различишь в ней стула". Это незаинтересованная и спокойная "жизнь в рассеянном свете", когда ничего не надо, и именно поэтому есть все, и появляются легкие, как бабочка, строфы о мире, что создан был без цели ("Бабочка").

Надеяться не на что, но "чем безнадежней, тем как-то// проще".

Александр Уланов ОПЫТ ОДНОЧЕСТВА: И.БРОДСКИЙ



Ханс Викстен. Сватовство. Автолитография.